

ЗАБЫТАЯ СТАРИНА

(Из наблюдений над текстом
«Медного Всадника»)

Вначале Первой части своей «петербургской повести» Пушкин, описав мрачный ноябрьский вечер, когда происходит действие, говорит о ее герое Евгении:

Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит —
Дичится знатных и не тужит
*Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.*¹
(V, 138)²

В этих одиннадцати строках пушкинской поэмы дается полно и отчетливо выраженный, несмотря на сжатость, облик ее героя: он — потоком древнего и знатного дворянского рода, к началу XIX века обедневшего и деклассированного настолько, что в петербургском обществе о нем (и даже о его «прозванье») совершенно забыли; он — бедняк, живущий на глухой окраине города («в Коломне»), мелкий чиновник, даже (как выясняется в дальнейшем) еще не имеющий определенного

¹ Подчеркнуто нами. — Н. И.

² Все цитаты из произведений Пушкина даются по «большому» Академическому изданию первого собрания его сочинений (в 16-ти т., М.—Л., 1937—1949, и дополнительный, Справочный т., 1959). При цитатах в тексте отмечаются в скобках: том (римской цифрой) и страница (арабской); указания на произведения Пушкина, сделанные без цитирования, в тексте и в сносках отмечаются, помимо тех же сведений, словом «Акад.».

Места и чина; чужой забывшему его «свету», но и сам забыл о своем происхождении и об историческом прошлом своих предков... В последних двух строках, подчеркнутых нами в приведенном отрывке, заключается глубокий, полный значения для поэта, историко-философский смысл, довершающий определение «ничтожного героя» «петербургской повести», каким он является в начале ее, накануне великого народного бедствия, составляющего центральный сюжетный узел — петербургского наводнения 7 ноября 1824 года.

Попытке раскрыть этот смысл и посвящена наша статья.

* *
* *

История творческой работы Пушкина над «Медным Всадником» и над предшествующим ему другим, незаконченным произведением — «новым романом» или «смирной (любовной) повестью» в Онегинских строфах, — называемым, по фамилии его героя «Езерский» — детально изучена в трудах пушкинистов-текстологов³. Изучены и сомнения поэта при выполнении его замысла, и сложные переработки образа героя, идущие от первых набросков «Езерского» до «Медного Всадника». Напомним основные моменты творческой истории поэмы.

Начиная в Болдине, в октябре 1833 года, новую «Петербургскую повесть», Пушкин в двух случаях воспользовался материалом покинутого им «Езерского». Это, во-первых, вступительное описание бурного осеннего вечера в Петербурге, неизменно присутствующее во всех набросках и редакциях «Езерского» и в сокращении составившее стихи 1—9 Первой части «Медного

³ См. в особенности: нашу статью «Из истории замысла и создания «Медного Всадника». В сб.: «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX. М., 1930; статью С. М. Бонди «Езерский» и «Медный Всадник». В «Комментарии» к фототипическому изданию рукописей А. С. Пушкина: «Альбом 1833—1835 гг.» (тетрадь № 2374 Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). М., 1939, стр. 35—51, а также «Историю заполнения альбома» (там же, стр. 16—22 (далее сокращенно: *Бонди*); работу О. С. Соловьевой «Езерский» и «Медный Всадник». История текста». В кн.: «А. С. Пушкин. Исследования и материалы», т. III. М.—Л., 1960, стр. 268—344 (далее сокращенно: *Соловьева*).

рукописи (ПД № 845, лл. 10₂ — 11₁) заняты разнообразными поисками продолжения — раскрытием личности героя и рассуждениями вокруг нее. В этих поисках Пушкин следует оставленному им «Езерскому», повторяя некоторые его строфы, перерабатывая их в астрофические стихи и пробуя развивать полемические темы. Здесь видим попытки применить к новому герою родословие Езерских:

Угодно знать происхождение
И род и племя и года ..
(V, 444)

Параллельно с этим:

—мой Евгений
Происходил от поколений
Чей дерзкий парус среди морей
Был ужасом минувших дней
(V, 444)

Эти попытки брошены, родословие не развито, но тут же набросано в почти законченном виде полемическое рассуждение об аристократической гордости и писателях-дворянах, показывающее, насколько большое значение придавал поэт вопросу о древности и знатности рода своего героя:

К тому же это подражанье
Поэту Б-⟨айрону⟩ наш род
(Как говорит о том преданье)
Не то⟨лько⟩ был отменно горд
Высо⟨ким⟩ даром песноп⟨енья⟩
Но и рожденья
Ламартин
(Я слышал) тоже дворянин
Юго, не знаю
В России же мы (т. е. писатели.—*Н. И.*) все
дворяне
Все кроме двух иль трех—зато
Мы их и ставим ни во что...
(V, 417)⁵

⁵ Ср. набросок к «Езерскому»:

Поэту-лорду подражая,
Он был большой аристократ,
Т. е.— он помнил ..
(V, 409)

В Академическом издании, а также в исследовании С. М. Бонди эти стихи рассматриваются как незаконченная Онегинская строфа и по-

Параллельно с этим отрывком намечается конкретная социальная и личная характеристика героя:

Он был [чиновник] небогатый
Безродный, круглый сирота...
(V, 444—445)

*

Без роду, племени, связей,
[Без денег — т. е. без друзей]
(V, 445)

Но, если выражения «круглый сирота» и отсутствие «связей» означали только раннюю утрату Евгением своих родителей, отсутствие родственников и одиночество, не противоречащие его знатному происхождению, то выражения «безродный», «без роду, племени» явно вступали с ним в противоречие, особенно второе: оно имеет двоякий смысл и, совпадая с сиротством героя, в то же время намекает на его незнатное, быть может разночинное происхождение, а это явно не соответствовало замыслу Пушкина.

Взяв себе «ничтожного героя», он мог бы — и это было бы вполне естественно — сделать его бедным мелким чиновником, подобным многочисленным персонажам позднейшей «натуральной школы», начиная с гоголевского Акакия Акакиевича. Но это, повторяем, противоречило творческим намерениям поэта — и он настойчиво указывает на его происхождение из древнего дворянского рода. Оба определения — «безродный», «без роду, племени» — были отвергнуты, и на следующей странице черновика дается такая характеристика Евгения, которая подчеркивает его безличность, принадлежность к массе ему подобных «ничтожных героев», не затрагивала его знатного дворянского происхождения:

Евгений —
гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму
От вас нимало не отличный
Ни по лицу ни по уму...
(и т. д.— V, 445)

этому введены в черновые тексты «Езерского», хотя находятся среди черновиков «Медного Всадника». Теперь, пересмотрев этот вопрос, мы приходим к убеждению, что права О. С. Соловьева, доказывающая, что этот набросок, не составляющий Онегинской строфы, связан с работой над «Медным Всадником» и не должен из него изыматься (см. *Бонди*, стр. 48; *Соловьева*, стр. 309).

И далее следует, в неотбеленных набросках, спор с критиком или читателем о праве поэта «воспевать» «ничтожного героя» — спор, носящий явно иронический характер и направленный против современных «великих людей», лжегероев, от которых «нет уж нам прохода», и утверждающий свободу и независимость поэта от «услужливых глупцов», зовущих его на проторенные дороги⁶.

Все эти наброски, эти полемические отступления, связанные с разными строфами оставленного «Езерско-го»⁷, не получили в черновиках «Медного Всадника» дальнейшего развития и обработки: сатирический тон их не соответствовал определившемуся уже с самого начала работы сосредоточенно-трагическому характеру новой поэмы и ее композиции.

Возвращаясь во второй тетради (ПД № 839), где продолжалась работа над черновиком «Медного Всадника», к характеристике героя поэмы, Пушкин довел ее почти до окончательного вида (приведенного выше, в начале статьи), прибавив к ней несколько дополнительных черт, связанных опять-таки с оставленным «Езерским»:

наш герой
Живет в чулане — где-то служит
Дичится знатных — и не тужит
[Что дед его великий <муж>
Имел 16 т<ысяч> душ! ...]
(V, 462; ср. V, 101 и 414)

*

[Не знает он]
О том, что в тереме забытом
В пыли гниют его права
(V, 463; ср. V, 101 и 416)

Вас спесь боярская не гложет
И век Вас верно просветлил
Кто б ни был <ваш родоначальник>
(V, 464; ср. V, 99)

*

От этой слабости безвредной
Булг<арин> отучить <?> не мог
Меня (хоть был он очень строг)
(V, 464; ср. V, 100)

⁶ См. *Акад.*, V, стр. 445—446.

⁷ См. там же, стр. 101—103, 410—412, 416—417.

Но и эти едва намеченные наброски были оставлены без отделки: ни конкретные данные о предках Евгения, ни указание на их забытый терем, ни в особенности полемическое обращение к читателю — современному дворянину-карьеристу, равнодушному к прошлому своего рода, или столь же полемическое упоминание поэта о своей «слабости безвредной» к истории его предков, и о противнике времен «Литературной газеты» — Булгарине — словом, ни одно из подобных отступлений не могло найти себе места в напряженной и предельно сжатой характеристике героя новой «петербургской повести». Отбросив все уводящие в сторону детали и все рассуждения, Пушкин сохранил в черновике и довел до окончательного текста две самых основных, определяющих черты своего героя: во-первых, принадлежность Евгения к древнему, некогда знатному и богатому историческому роду: его «прозвание» прозвучало «в родных преданьях», «под пером Карамзина» (т. е. в восьмивековой период, охваченный «Историей государства Российского», и не позднее конца XVI — первых лет XVII века; а во-вторых, пренебрежение героя к своим предкам и их исторической роли, забвение им исторического прошлого вообще.

Из этого вытекают важные для Пушкина следствия. Хорошо известно, какое большое значение придавал поэт своему родовому прошлому — не пустому чванству знатным происхождением, но сознанию своей органической связи с историей России через своих предков — участников этой истории. Об этом он писал не раз — напомним некоторые из его высказываний такого рода, находящиеся в художественных произведениях и в критико-публицистической прозе, и в исторических, и мемуарных трудах.

Так, мы читаем в статье «Отрывки из писем, мысли и замечания», написанной и опубликованной в 1827 году, т. е. в период работы над его первым историческим романом «Арапом Петра Великого», где героем является его прадед: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». «Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство человеку образованному». «Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое, и

тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе?» (XI, 55).

Подобные же мысли высказывались Пушкиным неоднократно и позднее, — в особенности в ряде статей и набросков 1830 года, вызванных борьбой «Литературной газеты» против Булгарина и Полевого. По убеждению Пушкина, уважение дворянства к памяти предков есть залог его независимости в отношении властей, что имеет определенное политическое значение в самодержавном государстве и отозвалось в движении декабристов.

Набросок к ненаписанной статье 1830—1831 года содержит общее высказывание: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства» (XI, 184). Это положение конкретизируется в другой статье 1830 года: «...Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство...» (XI, 162)⁸.

В беллетристической форме размышления Пушкина о значении древнего дворянства, о его отношении к новой аристократии, его современном материальном и моральном падении и пренебрежении дворян к своему прошлому, выражены в неоконченных повестях из современной жизни, 1828—1829 годов — «Гости съезжались на дачу...», так называемом «Романе в письмах» и др. В один из набросков к первой из этих повестей входит разговор «русского» с «путешествующим испанцем», причем «русский», выражая, очевидно, мнения автора, говорит: «Мы так положительны, что стоим на коленях перед настоящим случаем, успехом, но очарование древностью, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным достоинствам для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю. Но едва ли мы вслушались. Мы гордимся не славою предков,

⁸ Выражение «дорожит звездой двоюродного дядюшки» почти буквально перенесено, в таком же контексте, в «Езерского» («Гордись <...> звездой двоюродного дяди» — V, 99) и в другие произведения.

но чином какого-нибудь дяди или балами двоюродной сестры. [Заметьте], что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности...» (VIII, 42)⁹.

Те же вопросы составляют идейный центр неоконченной повести, известной под названием «Роман в письмах». «Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой», — пишет своему другу Владимир ** — «Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора (т. е. чиновника, недавно получившего дворянство по своему чину. — *Н. И.*)...» (VIII, 53).

Эти сентенции, в течение десяти лет упорно повторяющие одни и те же мысли, нет надобности приумножать, да они и общеизвестны. Следует еще напомнить, что в законченной и отделанной форме (хотя и с оттенком иронии) мы их находим в ряде строф «Езерского» — второй половине V («...Но извините: статья может...»), VI («Кто б ни был ваш родоначальник...»), VII («Я сам — хоть в книжках и словестно...»), VIII («Мне жаль, что сих родов боярских...») и следующих (V, 99—100, 405)¹⁰. Материал этих строф, как было показано, Пушкин пробовал переработать для «Медного Всадника», раскрывая своего нового «ничтожного героя» — бедного чиновника Евгения. Но от этих попыток он отказался — и занимавшая его мысль нашла краткое и исчерпывающее выражение в двух строках поэмы. Евгений, потомок знатного рода,

не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

(V, 138)

«Почившая родня» — это знатные предки Евгения, прославленные «в двух-трех строках Карамзина»; «за-

⁹ Ср. «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...», 1830), имеющий в значительной мере автобиографический характер: «Прия- тель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов... Он столько же дорожил тремя строчками летописца, в коих упомянуто было о предках его, как модный камер-юнкер тремя звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти все наше старинное дворянство...» и т. д. (VIII, 410).

¹⁰ Часть этих строф, с некоторой переработкой, вошла в «Родословную моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)», напечатанную в «Современнике» в 1836 году (III, 426—427).

бытая старина» — все историческое прошлое, неразрывно, казалось бы, связывавшее историю его рода с историей отечества. Это прошлое настолько прочно забыто «правнуком бедным», что напоминание о нем, о минувшем блеске его «прозванья» выражено поэтом даже с оттенком сомнения — «Оно (т. е. «прозванье». — *Н. И.*), *быть может*, и блистало...» Но это значит только то, что оно упало в полную неизвестность — и объективно, в общественном смысле, и субъективно, в собственных глазах последнего потомка.

Что же из этого следует? Евгений, как и сам Пушкин, «Могучих предков правнук бедный» («Езерский»), «Родов дряхлеющих (или униженных) обломок» («Моя родословная»), — но, в противоположность Пушкину, он забыл о прошлом своего рода, о его историческом значении, он живет в ограниченном и узком мирке мелкочиновничьего (или, что почти то же, мещанского) быта, и это отчетливо выражается в его размышлениях о своем настоящем и в его мечтаниях о будущем, где «независимость и честь», которые он «должен был себе доставить» упорным трудом, — это обеспеченное положение уважаемого в своем кругу чиновника, но никак не та политическая независимость и не та личная честь, которые так ценил Пушкин. Отказывая ему в сознании и памяти исторического прошлого, поэт низводит его в самую низшую общественную ступень и во всяком случае выключает из совершающихся перед ним событий общественной жизни — из той «страшной стихии мятежей», которая, год спустя после наводнения, привела на площадь 14 декабря «одних дворян» (XII, 334—335)¹¹. Может ли такой человек, во всем чуждый идеалам поэта, быть героем его поэмы — героем не только сюжетным, бытовым, но и идейным? Очевидно, нет, и такое парадоксальное положение сохраняется до того события, которое, разрушив мечты Евгения о маленьком личном счастье, перевернуло всю его жизнь.

Первый момент еще неосознанного духовного прозрения Евгений испытывает тогда, когда, в разгар наводнения, он сидит «На звере мраморном верхом»,

¹¹ Запись в дневнике Пушкина от 22 декабря 1834 года, излагающая его разговор с вел. князем Михаилом Павловичем о положении русского дворянства, о его роли в восстании декабристов и в будущем «при первом новом возмущении».

страшась «не за себя», а за тех, кого он любит, — смотрит в отчаянии на волны, встающие «Из возмущенной глубины», и на обращенного к нему спиной «кумира на бронзовом коне». И тут у него является страшная мысль:

Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
(V, 141—142)

С этой мыслью он внутренне перерождается: он уже не мелкий чиновник, занятый мыслями о своей бедности, об устройстве «смиренного и простого» приюта, и не деклассированный дворянин, забывший о славе предков, — здесь впервые он чувствует себя *человеком*, в сознании которого как бы слились воедино все бедствия, испытываемые в тот час многими тысячами людей. И тут он как будто впервые видит перед собой кумира-создателя, строителя и властелина города, воплощающего в себе трагическую судьбу своего создания.

Перелом между тем, чем еще накануне вечером был Евгений, и тем, что он, пусть и смутно, но сознал теперь, когда оказался среди наводнения, один на один перед «кумиром», составляет первую кульминацию поэмы, завершающую ее Первую часть. На таких переломах и противопоставлениях построена вся поэма, начиная с ее Вступления («где прежде — ныне там») и продолжая рассказом об Александре I, вышедшем на балкон Зимнего дворца посмотреть на наводнение. Язвительная ирония в изображении царя, который «печален, смутен» может только «в думе, скорбными очами» глядеть пассивно «на злое бедствие», говоря при этом: «С божией стихией // Царям не совладать», — прикрыта внешне почтительной хвалой («Покойный царь еще Россией // Со славой правил»), но от этого становится еще язвительнее, тем более, что этот бессильный царь, «нечаянно пригретый славой», невольно противопоставляется другому, тому, кто стоит «В неколебимой вышине, // Над возмущенною Невою»¹².

¹² Такой же глубокий контраст дан в III песне «Полтавы» между образами двух полководцев — Петра (стр. 180—211 — «Тогда-то, свыше вдохновенный...») и Карла (стр. 216—228 — «И перед синими рядами...»), — но и здесь по отношению к Карлу XII нет никакой иронии.

Так же противопоставлены бедствия наводнения с их кульминацией — безумием Евгения на месте исчезнувшего дома — и восстановленный на другой день «порядок прежний», в котором вершиной торжествующей пошлости является граф Хвостов с его «бессмертными стихами».

И для того так унижил Пушкин в начале своего героя, для того сделал его не просто разночинцем, человеком из общественных низов, «без роду, племени», но потомком древнего и знатного рода, лишь забывшим и свое происхождение, и историческое прошлое, что для поэта равносильно «дикости, подлости и невежеству», чтобы в трагические часы великого народного бедствия показать его *человеком*, во всем значении этого понятия. И здесь мы не можем не вспомнить еще одно, чрезвычайно важное высказывание Пушкина, следующее непосредственно за приведенными выше словами о «дикости и невежестве»: «Конечно, есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное (...) Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные...» (XI, 162). Эта мысль о личном достоинстве человека не только уравнивает, но и перевешивает то, что писал Пушкин о значении древнего дворянства.

За кратким моментом самосознания во время наводнения наступает у обезумевшего от горя Евгения долгий период духовного затмения, когда он «свой несчастный век // Влчил, ни зверь ни человек, // Ни то ни се, ни житель света // Ни призрак мертвый...». Но когда он вновь «очутился под столбами // Большого дома», где, за год до того, сидя «На звере мраморном верхом», он смотрел на наводнение и на бронзового «кумира», — он вновь обретает сознание, вновь «Прояснились в нем страшно мысли». Он опять становится человеком и бросает в лицо «горделивому истукану» свой человеческий вызов, свою угрозу:

«Добро, строитель чудотворный!»

«Ужо тебе!...»

(V, 148)

Его вызов именно *человеческий*, он исходит не от потомка униженного Петром и его преемниками старо-

дворянского рода, не от мелкого чиновника, но от человека, потрясенного общим и личным бедствием. Евгений бросает его тому, кого он считает непосредственным виновником своего несчастья — тому, «чьей волей роковой // Под морем город основался».

Его угроза вызывает гнев «грозного царя» — не бешушного «горделивого истукана», воплотившего в себя (как думают некоторые исследователи) самодержавную, бесчеловечную власть, — но того, кем этот истукан одухотворен, всадника, который некогда, на Полтавском поле, «промчался пред полками, // «Могущ и радостен как бой» (V, 57), а теперь, на «площади пустой», является воплощением суровой, но разумной исторической необходимости. Этой необходимости принужден подчиниться Евгений, который «с той поры, когда случилось идти той площадью ему», «картуз изношенный сымал, // Смущенных глаз не подымал // И шел сторонкой...» (V, 148—149).

Но потом он вновь, еще раз, обретает свое человеческое лицо, свое достоинство в эпилоге поэмы, когда на пустынном острове находит — каким образом — этого не объясняет поэт — «домишко ветхий», и умирает у его порога, тем самым соединившись посмертно со своей погибшей невестой.

В этом многозначительном эпилоге, утверждающем человечность Евгения, заключается, по нашему мнению, тот вывод, к которому приходит поэт после ряда чередующихся контрастов, проходящих через всю поэму и составляющих сущность поставленной им историко-философской проблемы. Рассматривается эта проблема диалектически, в борьбе двух противоречивых начал, воплощенных в Петре и Евгении. Противоречие между ними не находит себе — и не могло в то время найти — разрешения. Но важно то, что поэт, начав с тщательно продуманного, до предела уничижительного подбора черт своего «ничтожного героя», потом проводит его через испытанные им потрясения, к утверждению его подлинной, высокой, почти героической человечности. А исходным пунктом, с которого начинается этот сложный процесс, являются те две строки, которые мы выделили в начале изложения.

ЗАМЫСЕЛ, ТРУД, ВОПЛОЩЕНИЕ...

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. В. И. КУЛЕШОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1977